

Книга.

В жизни литератора есть бесконечно много самых обыкновенных, будничных споров, столь же скучных и однообразных, как и во всякой иной «жизни», но наряду с этим в ней повпорядится один, вечно обновляющийся праздник, — это книга.

В часы, когда десятки и сотни тысяч «деловых» людей мчатся в свои департаменты, канцелярии и конторы, — наскоро просмотрев утреннюю газету, берешься за книгу.

И тотчас начинают обступать бесконечные вереницы образов, мыслей и ощущений, погружая в атмосферу сгущенной жизни; и в течение нескольких часов, на протяжении сотни страниц, проходят события и лица, которых в обыкновенной, реальной обстановке или не встретишь никогда, или — случайно.

Тяжелый фолиант в сафьяновом переплете с писанными золотом буквами уносит тебя по ту сторону Средиземного моря, — и, бродя меж пирамид и сфинксов, следя за вьющимся орнаментом капакомб или за клинописью иероглифов, переключившись назад за тысячелетия, наблюдая мудрое однообразие жизни спершихся ныне из людской памяти народов.

Маленький томик, с продолговатыми страницами вскрывает тайну йогов, научая незримому и в зримом обнаруживая скрытость сокровенного, а плотный сухой *in quarto* том немецкой философии — бросает в темные и сирые извилины мысли свет логических построений.

В тихие, молчаливые, зимние вечера, когда слышно, как за окнами в полутемном арбатском переулке хрустит снег под ногами редких прохожих, как музыкант подходит к роялю или певец пробует мелодию — открываешь книгу стихов, и звучный сонет или певучее рондо, сладкая пряность новеллы итальянского квапроченго или очаровательная легкость поэзии Маллармэ — успокаивают грустящую душу.

Живя в столице, бываешь невольно посвящен во все изгибы книжного дела.

Слышишь о намечающихся изданиях, знаешь о печатающихся книгах знакомых и друзей и ждешь, когда в намеченный срок принесут свежий, пахнущий краской экземпляр, с автографом автора, который разрежешь с любовью и любопытством, заранее зная, кто делал фронтиспис, кто писал заставки, и пр., и пр.

В редакции иногда ждут неожиданности: среди присланных «для отзыва» книг вдруг обнаруживаешь какую-нибудь, невольно заинтересовывающую или темой, или именем автора, перелистываешь ее наскоро и, с тайными предчувствиями найди отзыв хлынувшим мыслям, бережно уносишь ее домой...

Бывают горькие разочарования: после первых же страниц швыряешь, обманувшую надежды книгу, пишешь злую рецензию.

Неожиданными открытиями дарит иногда и книжный магазин, куда заходишь изредка, чтоб посмотреть «новости». Эти находки бывают всегда интересней, нежели та жизнь книги, которая проходит на виду.

Увы!.. Спешные годы, переживаемые нами, лишили нас слишком многого. И как знать: среди бесконечного ряда лишений в обычном бытии жизни, слишком остро ощущаемых, — быть может, тяжелее всего ложится и на душу отдельного человека, любящего книгу, и на жизнь целого общества — эпох, развившийся до крайних пределов «книжный голод».

Ведь мы не знаем, в чем ждут нас последние и жестокие расплаты...

Но жуткое, почти невыносимое состояние испытываешь здесь в этих провинциальных городках при полном отсутствии книги.

Жизнь тихая, бесцветная, сто крат прославленная покоем, цвела беспрепятственно на неизблемых основах бытия. Книга была здесь вводным мотивом в медленной мелодии сна и не создала не только своей культуры, но и не оставила прочных следов своего бытия. Одна, две библиотеки на целый город, — с разрозненными изданиями.

В этой вынужденной оторванности, в этой невольной бездейственности, в маленьком провинциальном городке, в мечтах об очаровательном и умирающем Петрограде и о любимой, сжатой в тисках террористического насилия Москве — ощущаешь глубокую, неутолимую жажду о своей работе, о своем покое, о своем «деле» и в то же время наслаждении — о книге...

*Отечественные ведомости: Орган национальной и государственной мысли
(Екатеринбург). № 10. 17(4) января. С. 2.*

Николай Тарабукин.

Четыреста верст на перекладных (Отрывки из дорожного дневника).

I.

Вот по туманным перегонам
Гудят спальные провода,
Встречают села тихим звоном
И провожают — поезда.

Поля, запорошенные блестящим, хрупким снегом; заиндевелые леса, с опшенками фиолетового и синего в косых лучах зимнего солнца; холмы, повитые белыми пеленами, переливающимися радужными блестками; извивы дороги с гудящими телеграфными столбами; скрип саней встречных, медлительно ползущих обозов...

Утро вспаает все серебряное; села и аулы заплетают бесконечный дымный хоровод; и раскатившись по откосу, наши сани, со скрипом по мерзлому снегу, — вылетают из села снова в бесконечно-белые, едва окрашенные розовой негой восхода, поля и луга...

День много раз переменяет свои опшенки и то загорится веселыми переливами, словно под вдохновенной кистью яркого плянериста, или вдруг попускнеет, помутнеет, нахмурится и суровый, двупонный пейзаж севера виден долго и справа и слева.

Но вот:

И вечер медленный, склонясь к подножью дня,
Кровавит горизонт...

Белые снега слились с белыми небесами и только там, далеко, на линии горизонта в огненных прорезях пекут в кровавых расплавах, переполненные лаллами, то скрываясь, то обнаруживаясь, багряные реки и озера расплавленных металлов.

Мы смотрим в эти огненные печи и видим, как Гермес <так, не «Гефест»> кует мечи, раздувая свой пламенный горн...

Но вот несколько судорожных всплесков и мертвающая лава заликает огненные озера...

День беспомощно склоняется и тихий, медлительный вечер, в озарении зеленого серпа, вселяет покой пространствам...

Дымит изба, ночлег готовя...

Аул татарский тих и нем...

И усалые за длинный день пупи мы останавливаемся на ночлег.

II.

Вятские деревни неприветливы, бедны, пусклы. Старые расхлябанные юпятся они по откосам коричневатыми, неуклюжими, холодными, словно непопленными избами...

Вопяки нелюдимы, молчаливы, скупы. У них идиоптичный вид и эпо с ними приходится вести, ставшие классическими, диалоги:

— Тетка, молоко есть?

— Молоко-по?

— Да...

— Надо быть есть...

— Так давай на стол кринку...

— Чего?

— Да... молока...

— Молока-по... Это вам что ли?

Это они, мобилизуемые красноармейцами, при первой же возможности, полпами сдаются в плен войскам российской армии, но это они же желают и обратное.

Это они самый ненадежный элемент на постах, заставах, секретках и это они чаще всего фигурируют в военно-полевых судах.

Им приходится жить в слишком переменчивой обстановке и владение деревней по той, по другой стороной сделало их подозрительными.

Также суровы, угрюмы, нелюдимы деревни вятских крестьян, неохотно оказывающих вам приют и холодно провожающих вас дальше.

Перемена чувствуется сразу, как переезжаешь за Каму.

Началась Пермская губерния и словно другой, новый народ пошел.

Въезжаем в край, где широкой волной прокатились «красноармейские нравы».

— Ты любезный подумай, не озорники ли, не нечисть поганая, что у меня сделали, — шамкает беззубым ртом старуха, — выпасили две кадшки меда, — все мое богатство, — и вымазали им стены в избе... Потом разорвали перины и подушки и выпустили пух... Стены-то словно мохом покрылись...

— За что, старуха, они тебя так наказали?

— За сына, любезный, мстили... Сын у меня с солдатами добровольцем ушел. Озорством мстили...

— Поплапалась двумя кадками меда, да периной, — не велика беда, — перебивает старуху молодой парень, — вот в нашем селе попа «разделали», так действительно жуть берет.

Пришли они в село под вечер... Пономарь к всеночной бил... Увидел красных, да и ударь в набат... Красные к колокольне. Обстрел. Пономаря сшибли. Замолчал колокол. Ворвались в церковь. Поп неотступно служил. Взяли его в веревки. На его глазах разрушили алтарь, распасили золото, серебро и выпасив попа из церкви спали возить вокруг паперти за веревки. Кровь сочилась из разбитой головы, лица, рук. Увозили попа, — бросили и пошли в поповский дом. Были у него три дочери, все три девки молодые, красивые. Раздели их догола и заставили прислуживать у стола. Все поповы сокровища: варенье, мед, яблоки, пироги, — съели, посуду перебили, и напившись «кумышки», посадили одну из дочерей за пианино, заставив играть веселые песенки. На утро к селу подступил наш отряд, и пьяные красноармейцы разбежались. В разоренном

поповском доме на постелях нашли расперзанные при трупа поповских дочерей...

Это не «сгущенный» рассказ, не «суммирование итогов», а первый пришедший на память, из бесчисленного ряда случаев, рассказанных нам в пути.

Я убежден, что не только жители столиц, но и больших городов не представляют всего ужаса, заливающего Россию. Нужно быть в этих глухих местечках прифронтовой полосы, слышать рассказы от подлинных очевидцев, чтобы понять весь ужас и страх, испытываемые населением перед «движением» армии «красных», этого сброда опьяненных злобой и кровью преступных людей, захлебывающихся в кровавых кошмарах...

«Сашка Косой», знаменитый вор-рецидивист, убийца, пьяница и насильник, а ныне солдат какого-нибудь «коммунистического полка», прибывший из голодной губернии и охмелевший при виде местного обилия, — пробивает себе дорогу штыком все дальше и дальше, захлебываясь от разгула, препятствие которому он видит только, в преграждающей ему дорогу цепи войск российской армии.

Прорывая эту цепь и врываясь в деревню, он безумными глазами смотрит вокруг и его насильнические склонности уже не удовлетворяются простым, открытым грабежом, — он выполняет его с особым сладострастием...

С свистом и гиком, с шайкой «товарищей» влетает он в один, другой, третий дом и в одном ест мед, а потом смазывает им колеса телеги, в другом пьет «кумышку», в третьем меняет стоптанные сапоги на новые, в четвертом, охмелев, ломает граммофон, нанизывает на штык живьем курицу, гуся, индейку, и заканчивает свою оргию насилием над девками...

После набега красных деревня спонет от боли, от горя, от крови и я слышал этот стон разоренного края на протяжении всего пути...

III.

Из Пермской губ. въезжаем в Уфимскую.

Реже села, чаще аулы с мечетями.

Маленькие таптарские лошадки резвы и выносливы. Получив «посул на чай» таптарин, взметнув длинным кнутом, — гонит лошадей без усталости...

Дорога идет, по ровной степью, по начинает вилять меж холмами.

Мупнееет холодный вечер и сереборогий серп вспаает на зеленеющем небе.

Таптарин-ямщик запянул горпанную песню с аллиперациями на эр. Он поет про степь, юрпу, спада кобыл и кумыс. В степи бродит испомное солнце, кобыл много, а ковыль качает своими мохнатыми серебряными головками.

Скрипят полозья, мороз щиплет лицо и кончики пальцев.

Мы едем расселинами меж двух холмов. За холмом виден минарет мечети.

И вот: мутный вечер, серп минарета, песня тапарина про жаркую степь кажутся нам каким-то сном. Нам кажется, что «где-то, когда-то» цвела жизнь, теперь же снится лишь сон с этой песнью и тапаринном, сменивший другой сон с гулом орудийной стрельбы, военными обозами, ранеными и постоянной нервностью прифронтовой обстановки...

Нам мучительно хочется проснуться и вернуться к «жизни», мы толкаем друг друга, щиплем и бьем себя, но сон крепок... Он продолжает безудержно разворачиваться дальше...

Сонные, мы въезжаем в аул. Муэдзин прокричал с минарета вечернюю молитву и два старых тапарина пропащились в мечеть.

В чистой избе на кошах и взбитых перинах готовя нам ночлег.

— У меня «красный» лошадь брал, — рассказывает тапарин, — паскал ее, гонял, все ноги ей обдирали... Бросил, — мне оставил свою, а на чужой ускакал... Я свою хроую подобрал, лечил, и он опять хороший стал... Теперь я двух лошадей запрягал...

IV.

Мы въезжаем рано утром, еще до восхода —

Слежу печальный серп луны

В лохматых тучах небосклона... —

И едем по разоренному краю, где сполуп деревни, села, аулы, где пишина лишь в степных перегонах, где люди измучены своеволием, страхом, свинцовой расправой и изголодались — по власти...

Мы едем по краям, где смешно было бы поднять вопрос о партийных группировках в массах, о классовом самосознании крестьянства, о политической ориентации и прочем, ибо люди эти слишком много вынесли на себе гнета, чтоб продолжать разбираться во всех этих «городских комбинациях»...

Им нужна власть, покой и порядок, чтоб можно было уйти к своей излюбленной черной, парной земле и, держа в мозолистых больших лапах плуг, — почувствовать себя преданными своему извечному делу и долгу...

И эти люди ничего, конечно, не понимающие в тонкостях политических ориентаций, — когда до них спали доходить первые вести о Верховном Правителе, то идея единоличного правления, сосредоточенного в руках заслуженного военного человека, сочувственно воспринималась их сознанием. Идея единоличного правителя соответствовала их запавшей мысли о «хозяине земли»...

— Власть у всех, а значит ни у кого... Нужно, чтоб у власти был — хозяин... Только хозяин и может навести порядок...

Этого «хозяина» крестьяне ждут давно...

Я знаю крестьянские настроения последнего времени, ибо с момента въезда из Москвы, в начале лета, и до последних дней, был близок к крестьянам, и я не видел, чтобы какая-либо иная «ориентация» пришла им ближе, нежели последний сибирский переворот.

Наш петроградский умница В.В. Розанов слишком тонко чувствовал, сколь глубоко психологические корни идеи самодержавия в русском народе...

Крестьянин разбирается, что сибирский переворот далек от реставрации монархической структуры, но именно поэтому, что не чувствуя в нем самодержавного привкуса, а лишь видя осуществление идеи единоличного правления, так совпадающей с его представлениями об обще-государственном бытии, — оспаривается сочувствующим этому перевороту больше, нежели другим...

Я как раз в это время совершал свой медленный и трудный путь и мог воочию наблюдать за крестьянскими настроениями: это был спон уставших людей, жаждущих и ждущих прихода «хозяина» земли, сильного и властного, чтобы установить порядок, и при мысли, что, быть может этот «хозяин» пришел, — спон смягчался...

На перепутьях — ноябрь — 1918 г.

*Отечественные ведомости: Орган национальной и государственной мысли
(Екатеринбург). № 35. 15(2) февраля. С. 2.*